

Себастьян Жапризо

ЛОВУШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Я ГОТОВА УБИТЬ

ДАВНЫМ-ДАВНО жили-были три маленькие девочки: одну звали Ми, вторую – До, а третью – Ля. И была у них крестная, от которой вкусно пахло; она никогда их не ругала, если они не слушались, и называли они ее крестная Мидоля.

Как-то раз они гуляют во дворе. Крестная целует Ми, но не целует ни До, ни Ля. Как-то раз они играют в свадьбу. Крестная выбирает невестой Ми, но никогда не выбирает ни До, ни Ля. Как-то раз им грустно-прегрустно. Крестная уезжает, она плачет вместе с Ми, но не говорит ни слова ни До, ни Ля.

Из трех девочек Ми – самая красивая, До – самая умная, а Ля скоро умрет.

Похороны Ля – большое событие в жизни Ми и До. Много свечей, много шляп на столе. Гробик Ля выкрашен в белый цвет, земля на кладбище рыхлая. Человек роет яму, на нем куртка с золотыми пуговицами. Крестная Мидоля вернулась. Она говорит Ми, которая ее целует: «Любовь моя». Она говорит До: «Ты испачкаешь мне платье».

Проходит много лет. Крестная Мидоля, о которой говорят шепотом, живет далеко-далеко, присылает письма с орфографическими ошибками. Сперва она бедная и делает туфли для богатых дам. Потом разбогатела и делает туфли для бедных дам. Потом у нее стало много-много денег, и она покупает красивые дома. Потом умер дедушка, и она приезжает в огромном автомобиле. Она дает Ми примерить свою красивую шляпу; она смотрит на До, но не узнает ее. На кладбище рыхлая земля, и человек бросает ее в дедушкину яму, на нем куртка с золотыми пуговицами.

После До станет Доменикой, Ми – далекой Мишель, которая иногда приезжает на каникулы, она дает примерить своей кузине До красивые кружевные платья. Стоит Ми открыть рот, как все приходят в восторг; она получает письма от крестной, которые начинаются словами «Моя любимая девочка», она плачет на могиле матери. На кладбище земля рыхлая, крестная все время обнимает за плечи Ми, Мики, Мишель, что-то нежно ей шепчет, но что именно, До не слышит.

Позже Ми ходит в черном, потому что у нее больше нет мамы, она говорит До: «Мне очень-очень нужно, чтобы меня любили». Ми сама все время цепляется за руку До, когда они идут гулять. Ми говорит кузине: «Если ты меня обнимешь и поцелуешь, я никому не скажу, я женюсь на тебе».

Еще позже, года два, а может, и три спустя, Ми целует своего отца на бетонной полосе аэродрома возле огромной птицы, которая унесет его далеко-далеко, туда, где живет крестная Мидоля, в страну

свадебных путешествий, в город, который До ищет на географической карте, вода по ней пальцем.

А еще позже Ми можно будет увидеть только на фотографиях в глянцевых журналах. Вот здесь у нее длинные темные волосы, она входит в бальном платье в огромный зал – весь в мраморе и позолоте. А вот здесь она, вытянув длинные ноги, лежит в белом купальнике на палубе белой яхты. Вот она ведет маленькую открытую машину, куда набились, тесно прижавшись друг к другу и размахивая руками, молодые парни. Иногда у нее красивое грустное лицо, брови над прелестными светлыми глазами слегка нахмурены, но это из-за солнца, которое слепит на снегу. Иногда она улыбается близко-близко, глядя прямо в объектив, и подпись по-итальянски сообщает, что когда-нибудь она станет одной из самых богатых девушек в стране. Еще позже крестная Мидоля умрет, как умирают феи, в своем палаццо во Флоренции, Риме или на берегу Адриатики. Такую сказку сочинила себе До, хотя она уже не маленькая и знает, что все это выдумки.

Пусть правды в этой сказке немного, но вполне достаточно, чтобы не спать по ночам. А крестная Мидоля вовсе не фея, а просто богатая старуха, которая по-прежнему пишет с ошибками, и видела ее До только на похоронах, и вовсе она ей не крестная, да и Ми ей тоже не кузина; такое говорят только детям прислуги, как До, как Ля, потому что это так мило и никому не обидно.

До уже двадцать лет, столько же и маленькой принцессе с длинными волосами на журнальных

фотографиях. Каждый год на Рождество До получает в подарок туфельки, сшитые во Флоренции. Наверное, поэтому она считает себя Золушкой.

МЕНЯ УБИЛИ

ВНЕЗАПНАЯ ВСПЫШКА белого света режет мне глаза, точно бритва. Кто-то склоняется надо мной, чей-то голос вонзается мне прямо в голову, я слышу крики, отдающиеся эхом в далеких коридорах, но знаю – это кричу я сама. Я вдыхаю черноту, кишащую чужими лицами и шепотами, – и я умираю заново, уже счастливая.

Через мгновенье – день, неделю, год – свет снова ложится на закрытые веки, руки горят, горит рот, горят глаза. Меня катят по пустым коридорам, я снова кричу, чернота.

Иногда боль собирается в одной точке, в затылке. Иногда я чувствую, что меня двигают, куда-то катят, и боль огненным потоком растекается по жилам, иссушая кровь. Во тьме часто появляются огонь и вода, но мне уже не больно. Огненная пелена меня пугает. Снопы водяных струй холодные, но приятные, когда спишь. Мне хочется, чтобы лица стерлись, а шепот стих. Когда я вдыхаю ртом черноту, мне хочется, чтобы она сгустилась, хочется нырнуть глубоко-глубоко в ледяную воду и больше не всплывать.

Но неожиданно я возвращаюсь, боль выталкивает тело на поверхность, белый свет бритвой режет глаза. Я вырываюсь, ору, слышу издали свои крики, и голос, который вонзается мне в голову, что-то резко говорит, но я не понимаю слов.

Чернота. Лица. Шепот. Мне хорошо. Девочка моя, если не перестанешь, я ударю тебя по лицу папиными, желтыми от табака пальцами. Птенчик мой, зажги папе сигарету, огонь, подуй на спичку, огонь.

Свет. Боль в руках, во рту, в глазах. Не шевелитесь. Не шевелитесь, деточка. Так, тихонько. Больно не будет. Кислород. Тихонько. Так, вот умница, умница.

Чернота. Женское лицо. Дважды два четыре, трижды два шесть, линейка бьет по рукам. Выходим парами. Открывай шире рот, когда поешь. Все лица выходят парами. Где медсестра? Не смейте шептаться в классе. Когда будет хорошая погода, пойдем купаться. Она говорит? Сперва она бредила. После пересадки жалуется на руки, нет, на лицо не жалуется. Море. Если заплывешь далеко, можно утонуть. Она жалуется на мать, на какую-то учительницу, которая била ее по пальцам линейкой. Волны катятся у меня над головой. Вода, волосы в воде, ныряй, всплывай, свет.

Я всплыла сентябрьским утром, лежа на спине на свежих простынях, лицо и руки уже не горят, они просто теплые. Возле моей кровати – окно, на стене напротив – огромный солнечный блик.

Подождал мужчина, он очень ласково говорил со мной, совсем недолго. Он просил меня быть умницей, стараться не шевелить головой и руками. Он говорил четко, почти по слогам. Такой спокойный, такой надеж-

ный. У него вытянутое костистое лицо, большие темные глаза. Вот только белый халат до боли слепит глаза. Он понял это, когда заметил, что я прикрываю веки.

В следующий раз он пришел в сером шерстяном пиджаке. Он снова говорил со мной. Просил моргнуть один раз, если я хочу ответить «да». Да, мне больно. Да, голова. Да, руки тоже. Он спросил, знаю ли я, что случилось. И увидел, как я в отчаянии распахнула глаза.

Он ушел, пришла сестра сделать укол, чтобы я заснула. Она большая, большие белые руки. Я поняла, что ее лицо открыто, а мое нет. Я попыталась определить, есть ли на коже бинты или мазь. Мысленно я проследила – виток за витком – всю повязку. Она обвивала шею, переходила на затылок, на макушку, закрывала лоб, огибая глаза, снова спускалась к подбородку, виток, еще виток. Я заснула.

В следующие дни я превратилась в существо, которое перевозят с места на место, кормят, катят по коридорам, которое отвечает «да», моргнув один раз, и «нет», моргнув два раза, которое не хочет кричать, но истошно орет на перевязках, которое пытается глазами задать терзающие его вопросы, которое не может ни говорить, ни шевелиться; просто животное, тело которого очищают мазями, а ум – уколами, нечто безрукое и безликое: никто.

– Через две недели снимем повязки, – сказал доктор с костистым лицом. – Честно говоря, даже немножго жаль, вы мне очень нравитесь в виде мумии.

Он назвал мне свое имя – Дулен. Радовался, что через пять минут мне удалось его запомнить, а еще больше радовался, что я могу его правильно произнести. Сначала, когда он склонялся надо мной, он говорил: «мадемуазель», «деточка», «умница». Я повторяла за ним: «мадекласс», «делинейка», «утаблица»; умом я понимала, что таких слов не существует, но одеревеневшие губы произносили их помимо воли. Позднее он скажет, что у меня в голове «словесный винегрет», что это меньшая из моих бед и что это быстро пройдет.

И правда, мне потребовалось меньше полутора недель, чтобы узнавать со слуха глаголы и прилагательные. На имена нарицательные ушло на несколько дней больше. Но распознавать имена собственные я так и не научилась. Я могла повторять их правильно, как и остальные слова, но они ничего не вызывали у меня в памяти, кроме того, что мне сказал сам доктор Дулен. За исключением некоторых из них – например, Париж, Франция, Китай, площадь Массена или Наполеон, – все они были замурованы в прошлом, которого я не помнила. Я заучивала их заново, ничего другого не оставалось. Однако мне не пришлось объяснять, что такое «есть», «ходить», «автобус», «череп», «клиника» или любые слова, которые не означали конкретного человека, конкретное место или конкретное событие. Доктор Дулен говорил, что это нормально, что мне не стоит беспокоиться.

– Вы помните мое имя?

– Я помню все, что вы говорили. Когда мне разрешат посмотреть на себя?

Он отошел, я попыталась проследить за ним взглядом, но глаза заболели. Он вернулся с зеркалом. Я посмотрела: вот она я, два глаза и рот посреди маски-панциря, обмотанной белыми бинтами.

– Уйдет не меньше часа, чтобы снять все это. Но там прячется нечто очень красивое.

Он держал передо мной зеркало. Я полусидя опиралась на подушки; руки, вытянутые вдоль тела, были привязаны к кровати.

– А руки мне развяжут?

– Скоро. Нужно постараться быть умницей и не слишком шевелиться. Их будут фиксировать только на время сна.

– Вижу глаза. Они голубые.

– Да, голубые. А теперь и правда будьте умницей. Не двигайтесь и ни о чем не думайте. Спите. Я вернусь днем.

Зеркало исчезло, а вместе с ним и существо с голубыми глазами и ртом. Передо мной снова появилось длинное костистое лицо.

– Баю-баюшки, мумия.

Я почувствовала, что из полусидячего положения опускаюсь в лежачее. Мне хотелось увидеть руки доктора. Лица, руки, глаза – все это сейчас очень важно. Но он уже ушел, а я заснула без укола, совсем разбитая, повторяя имя, такое же незнакомое мне, как и все остальные, – мое собственное имя.

– Мишель Изоля. Меня зовут Ми, или Мики. Мне двадцать лет. в ноябре будет двадцать один.

Я родилась в Ницце. Мой отец по-прежнему там живет.

– Не спешите, мумия. Вы глотаете половину слов и переутомляетесь.

– Я помню все, что вы говорили. Я прожила много лет в Италии со своей тетей, она умерла в июне. Три месяца назад я получила ожоги во время пожара.

– Я говорил иначе.

– У меня была машина марки «эм-джи». Номер ти-ти-икс шестьдесят шесть – сорок три – тринадцать. Белого цвета.

– Молодец, мумия.

Я хотела удержать его, но резкая боль пронзила тело, снизу вверх от руки до самого затылка. Он никогда не задерживался дольше нескольких минут. Потом мне давали пить и заставляли спать.

– Машина была белая. Марки «эм-джи». Номер ти-ти-икс шестьдесят шесть – сорок три – тринадцать.

– А дом?

– Дом стоял на мысе Кадэ. Это между Ла-Сьота и Бандолем. Двухэтажный. Три комнаты и кухня внизу, три комнаты и две ванные наверху.

– Не так быстро. А ваша спальня?

– Она выходила на море и на городок, который называется Ле-Лек. Стены выкрашены в голубой и белый цвета. Говорю же вам, это идиотизм. Я прекрасно помню все, что вы говорили.

– Это важно, мумия.

– Важно, что я всего лишь повторяю за вами. Никаких воспоминаний не возникает, одни слова.

– Хотите повторить их по-итальянски?

– Нет. Я помню camera, casa, machine, bianca*.

Я вам уже их говорила.

– На сегодня довольно. Когда будете себя лучше чувствовать, я покажу вам фотографии. Мне привезли три большие коробки. Я знаю вас, мумия, лучше вас самой.

Через три дня после пожара меня оперировал в Ницце врач по фамилии Шавер. Доктор Дулен заявил, что с неподдельным восхищением наблюдал, как Шавер исправляет последствия двух кровоизлияний, случившихся у меня в тот день, – невероятно тонкая работа, но такой операции ни одному хирургу не пожелаешь.

Я находилась в клинике доктора Динна в Булонском лесу, куда меня перевели через месяц после первой операции. в самолете произошло третье кровоизлияние, потому что за четверть часа до посадки пилоту пришлось резко набрать высоту.

– Доктор Динн занялся вами, когда пересадка кожи больше не внушала опасений. Он сделал вам хо-рошенький носик. Я видел слепок. Уверяю вас, просто прелесть.

– Расскажите о себе.

– Я шурин доктора Шавера. Работаю в больнице Святой Анны. Я не отхожу от вас с того самого дня, как вас привезли в Париж.

* Комната, дома, машина, белая (ит.). – Здесь и далее примеч. пер.

– А что мне делали?

– Здесь? Хорошенький носик, мумия.

– А до того?

– Это не имеет значения, раз вы тут. Радуйтесь, что вам двадцать лет.

– Но почему ко мне никого не пускают? Если я, например, увижу отца или кого-нибудь из старых знакомых, меня наверняка как следует тряхнет, и я разом все вспомню.

– Умеете же вы подобрать правильное слово, дочка. Вас действительно крепко тряхнуло, моя милая, и не раз, причем досталось именно голове, что и подпортило нам все дело. Так что теперь с визитами лучше повременим. – Он улыбнулся, осторожно потянулся рукой к моему плечу, секунду подержал, едва касаясь. – Не волнуйтесь, мумия. Все будет хорошо. Через какое-то время воспоминания будут по очереди возвращаться, потихоньку и безболезненно. Существует столько же видов амнезии, сколько тех, кто лишился памяти. Но у вас очень щадящий вариант. Ретроградная частичная амнезия без нарушения речи, даже без заикания, но настолько обширная и глубокая, что дыра просто не может не затягиваться. Пока не станет совсем-совсем крошечной.

Большим и указательным пальцами он показал маленький промежуток. Потом улыбнулся и нарочито медленно встал со стула, чтобы мне не пришлось резко переводить взгляд.

– Ведите себя хорошо, мумия.

И вот наступил тот день, когда я вела себя настолько хорошо, что меня перестали три раза в день травить снотворным, растворенным в бульоне. Это произошло в конце сентября, спустя три месяца после несчастного случая. Я могла притворяться, что сплю, пока память билась в железной клетке, ломая себе крылья.

В этой памяти хранились улицы, залитые солнцем, пальмы вдоль моря, школа, классная комната, учительница с затянутыми в пучок волосами, шерстяной красный купальник, ночи, подсвеченные огнями иллюминации, военные оркестры, шоколад, который протягивал американский солдат, а дальше – провал.

Потом страшная вспышка белого света, руки медсестры, лицо доктора Дулена.

Иногда очень ясно, с невыносимой и пугающей четкостью, мне представлялись руки мясника с толстыми, но при этом ловкими пальцами, одутловатое лицо, бритая голова. Это были руки и лицо доктора Шавера, которые я видела между двумя провалами, двумя комами. Воспоминание относилось к середине июля, когда он вернул меня в этот белый, равнодушный, непонятный мир.

Я считала в уме, закрыв глаза; затылок нестерпимо болел, упираясь в подушку. Передо мной плыли цифры, как на черной школьной доске. Сейчас мне двадцать лет. Американские солдаты, по словам доктора Дулена, раздавали шоколад девчущкам примерно в 1944-м или 1945-м. Мои воспоминания обрывались где-то на пятом или шестом году моей жизни. Пятнадцать лет стерлись начисто.

Я автоматически запоминала имена собственные, потому что они ничего не значили, не имели никакого отношения к новой жизни, которую меня заставляли вести. Жорж Изоля, мой отец. Firenze, Roma, Napoli*. Ле-Лек, мыс Кадэ. Все напрасно, и позднее доктор Дулен объяснил мне, что биться головой о стенку бесполезно.

– Мумия, я же велел вам не тревожиться. Если имя отца вам ни о чем не говорит, значит, вы забыли и отца, и все остальное. Имя уже не имеет значения.

– Но когда я говорю «река» или «лиса», я же понимаю, о чем идет речь. Разве после того, что случилось, я видела реку или лису?

– Послушайте, деточка, когда вы поправитесь, обещаю, мы подробно поговорим на эту тему. А пока что вы должны быть умницей. Просто уясните для себя, что в голове у вас происходит определенный, хорошо исследованный и описанный, можно даже сказать, рядовой процесс. Каждое утро я вижу с десятков стариков, которых никто не бил по голове, но все они находятся примерно в таком же положении. Пять-шесть первых лет жизни – предел их памяти. Помнят школьную учительницу, но забыли собственных детей и внуков. Однако это не мешает им играть в карты. У них почти ничего не осталось в голове, но правила игры в белот сохранились, и скручивать сигареты они не разучились. Ничего не попишешь. Вы поставили нас в тупик своей амнезией сенильного типа, как у стариков. Будь вам лет сто, я пожелал бы вам доброго

* Флоренция, Рим, Неаполь (ит.).

здоровья и поставил крест на вашем лечении. Но вам-то всего двадцать. И нет даже ни единой вероятности на миллион, что вы навсегда останетесь в таком состоянии. Понятно?

– Когда я смогу увидеть отца?

– Скоро. Через несколько дней с головы снимут эту средневековую штуковину. А там видно будет.

– Мне хочется знать, что именно произошло.

– Не сейчас, мумия. Я сперва должен кое в чем убедиться наверняка, а слишком долгий разговор вас утомит. Итак, номер вашей машины?

– Шестьдесят шесть – сорок три – тринадцать тити-икс.

– Вы нарочно говорите не в том порядке?

– Да, нарочно! с меня хватит! Хочу пошевелить пальцами! Хочу увидеть отца! Хочу выбраться отсюда! А вы заставляете меня без конца повторять всякие глупости! Каждый день! Хватит с меня!

– Ведите себя благоразумно, мумия.

– Не называйте меня так!

– Прошу вас, успокойтесь!

Я подняла руку, огромный гипсовый кулак. В тот вечер, по их словам, у меня случился «кризис». Прибежала медсестра. Мне снова привязали руки. Доктор Дулен стоял передо мной, прислонившись к стене, и смотрел на меня в упор с обидой и возмущением.

Я орала, сама не понимая, на кого я злюсь – на него или на себя. Мне сделали укол. Я видела, как пришли другие сестры и врачи. Кажется, тогда я впервые по-настоящему задумалась о том, как выгляжу.

Я словно воспринимала себя глазами тех, кто на меня смотрит, будто я раздвоилась в этой белой палате, на этой белой кровати. Бесформенное существо с тремя отверстиями, уродливое, истошно вопящее, стыд и позор. Я выла от ужаса.

Доктор Динн приходил ко мне все следующие дни и разговаривал со мной как с пятилетней девочкой, ужасно избалованной и весьма несносной, которую нужно защищать от самой себя.

– Еще одно такое представление, и я не отвечаю за то, что мы увидим, сняв повязки. Тогда пеняйте только на себя.

Доктор Дулен не приходил целую бесконечную неделю. Я сама несколько раз требовала, чтобы он заглянул ко мне. Сестра-сиделка, которой наверняка досталось после моего «кризиса», еле-еле отвечала на мои вопросы. Она отвязывала мне руки на два часа в день и все эти два часа не сводила с меня подозрительного и недовольного взгляда.

– Это вы здесь дежурите, когда я сплю?

– Нет.

– А кто?

– Другая.

– Я хочу видеть отца.

– Вам еще нельзя.

– Я хочу видеть доктора Дулена.

– Доктор Динн больше не разрешает.

– Расскажите мне что-нибудь.

– Что именно?

– Не важно. Поговорите со мной.

– Это запрещено.

Я смотрела на ее большие руки, которые казались мне красивыми и успокаивающими. Она почувствовала мой взгляд и, кажется, смутилась.

– Перестаньте следить за мной.

– Это как раз вы за мной следите.

– Приходится.

– Сколько вам лет?

– Сорок шесть.

– А сколько времени я здесь?

– Семь недель.

– И все эти семь недель вы ко мне приставлены?

– Да. Хватит, мадемуазель.

– А как я себя вела в первые дни?

– Вы не двигались.

– Я бредила?

– Бывало.

– И что я говорила?

– Ничего интересного.

– Ну что, например?

– Я уже не помню.

В конце следующей недели, показавшейся мне целой вечностью, в палату вошел доктор Дулен с коробкой под мышкой. На нем был мокрый плащ, который он не снял. В оконные стекла рядом с кроватью стучал дождь.

Он подошел, слегка коснулся, как обычно, моего плеча, произнес:

– Добрый день, мумия.

– Я давно вас жду.

– Знаю, – сказал он. – Я даже получил подарок.

Он объяснил, что после моего «кризиса» кто-то прислал ему цветы. К букету – георгины, которые так любит его жена, – прилагался небольшой брелок для ключей от машины. Он показал мне его. Круглый, из золота, с вмонтированным крохотным будильником. Очень удобно, когда паркуешься в «синей зоне» и нужно платить по времени.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА